




Дарья Дезомбре

Сеть птицелова



МОСКВА
2022

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Д 26

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!
Мы в соцсетях:
www.eksmo.ru
 [vmirefiction](#)

Под редакцией *О. Рубис*
Оформление серии *А. Саукова*

Иллюстрации на обложке *В. Ненова*

Дезомбре, Дарья.
Д 26 Сеть птицелова : роман / Дарья Дезомбре. — Москва :
Эксмо, 2022. — 448 с.

ISBN 978-5-04-121784-6

Июнь 1812 года. Наполеон переходит Неман, Багратион в спешке отступает. Дивизион неприятельской армии останавливается на постой в имении князей Липецких — Приволье. Вынужденные делить кров с французскими майором и военным хирургом, Липецкие хранят напряженное перемирие. Однако вскоре в Приволье происходит страшное, и Буонапарте тут явно ни при чем. Неизвестный душегуб крадет крепостных девочек, которых спустя время находят задушенными. Идет война, и официальное расследование невозможно, тем не менее юная княжна Липецкая и майор французской армии решают, что понятия христианской морали выше конфликта европейских государей, и начинают собственное расследование. Но как отыскать во взбаламущенном наполеоновским нашествием уезде след детоубийцы? Можно ли довериться врагу? Стоит ли — соседу? И что делать, когда в стены родного дома вползает ужас, превращая самых близких в страшных чужаков?

УДК 821.161.1-312.4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-04-121784-6

© Фоминных Д.В., 2021
© Оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

Памяти Антона

Мы были дети 1812 года.

Матвей Муравьев-Апостол

*Челобитная Митрополиту Тобольскому
и Сибирскому преосвященному Антонию иеромонаха
Мисаила духовного приказа Вознесенского монастыря об
удалении от монастыря умалишенного N.*

1794 года апреля 27 дня.

Ваше высокопреосвященство, премилосердый отец наш!

Покорнейше прошу благоволить к нижайшей просьбе моей, учинив отеческое милосердие. Согласно указу всемилостивейшей Государыни нашей, принимаем мы в обители до десяти заблудших души мужского полу в не целом уме для духовного исцеления и вразумления.

Так, прошлым сентябрем привезен был к нам человек средних лет, наружностью и манерами весьма приятный, большой охотник до игры в шахматы, чем сразу и расположил к себе отца игумена. Не отказываясь от монастырской работы, человек этот мало-помалу спознался с крестьянами окрестных деревень, давая им советы простые и дельные. И вскоре прошел слух о великой мудрости оного, и так о двадцати человек за день приходили под окно его кельи. Но к кому приходили они? Не к монастырскому травнику и не к его преподобию, а к безумцу! Однако ж, установив плату за свои советы по десять копеек медью, сей последний весьма помог скудной монастырской кассе, и, стыжусь признаться, мы с отцом игуменом были весьма довольны столь неожиданному источнику дохода нашей скромной обители.

Третьего же дня, после повечерия, отец игумен, вернувшись к себе в келию, совершил немислимое: выпрыгнул в окно с веревкою вокруг шеи и через то повесился. Невозможно и представить себе, как сей пастырь, столь чистый духом и помыслами, позабыл о святом служении и совершил грех, равного которому нет.

Позор, навлеченный на обитель чрез оное деяние, безмерен, и сам я таковым внезапным, какового во всю жизнь мою со мною не случилось, несчастьем столь поражен был, что несколько времени провел в беспамятстве. А пришед в себя, самолично осмотрел келию игумена и не нашел в ней ничего, что могло бы повлечь за собой проступок столь страшный. Его преподобие не получал в тот день писем, и единственное, чем занял свой невеликий досуг, — игрою в шахматы. Шахматная доска с неоконченною партиєю осталась стоять на столе, а принюхавшись, мне почудился в воздухе аромат лавандовой воды, коей, пренебрегая монастырским запретом, пользовался N. Впервые, по слабому рассуждению моему, пришла мне мысль присмотреться поближе к нашему новому постояльцу, у коего не приметил я по сию пору ни единого признака повреждения рассудка.

Ныне же, отправившись по хозяйственной надобности в селение, ближайшее к обители, выслушал я старосту — и похолодел. В том селении за единый месяц первый мужик заколол рогатиной отца своего, второй удушил кушаком жену, третий же до смерти прибил малолетнего сына-калеку. Ужас объял все естество мое, Ваше высокопреосвященство, егда узнал я, что оные трое душегубов бывали в нашей обители, где получали советы от безумца.

Воротившись, сыскал я последнего в курятнике за кормлением птицы. Подошел, взял за руку (а была она холодна, точно смерть) и спросил со всею строгостию:

— Отчего лишил себя жизни отец игумен?

Безумец же, подняв на меня недвижны очи, сощурил вдруг один глаз, оскалился, аки пес, и рек:

— Il a perdu¹.

¹ Он проиграл (фр.).



ГЛАВА 1

В Польше хлеба больше.

Поговорка

Князь настоял, а княгиня не смела перечить. — Негоже подарки государевы оставлять без присмотра, — горячится погожим майским днем двенадцатого года его сиятельство: в этот день Джон Беллингем стреляет в английского премьер-министра. Там же, в палате лордов, заседает Джордж Гордон Байрон, опубликовавший пару месяцев назад первые песни «Паломничества» Чайльд Гарольда. Четвертый президент Американских штатов собирается объявить Англии вторую войну за независимость. Плачет в своей лэндпортской колыбели младенец — Чарльз Диккенс. Бетховен пишет Седьмую и Восьмую симфонии, братья Гримм готовят к выходу том волшебных сказок. Мэтью Мюррей строит первый коммерческий паровоз для Мидлтонской железной дороги, а в Стаффордшире Томас Веджвуд — человек, чья фамилия известна князю и княгине лишь по прелестным фарфоровым чашкам, уж десять лет как трудится над созданием будущей фотографии...

Но сидящая напротив супруга княгиня вряд ли доживет до своего дагерротипного изображения (да и зачем оно нам — темное, не оставляющее пространства воображе-

нию?), навсегда оставшись в веке полупрозрачной акварели. Она опускает глаза, отказываясь озвучить тайную причину своего нежелания ехать в Трокский уезд, а князь все говорит и говорит — да все не то, что хочет услышать супруга (весьма частый случай частного супружеского бытия).

Через полуоткрытое окно деревянного особняка в переулке близ Большой Дмитровки майский ветер доносит запах сирени из сада и дубленых кож — с Охотного ряда. Густо пахнет и навозом — но вонь эта является парфюмерной константой любого крупного города эпохи, и нос княгини даже не отмечает ее, как не чувствует загазованного воздуха современный москвич.

— А что доход маловат в сравнении с великоросскими деревнями, — продолжает излагать ненужное его сиятельство, — так забрось, как ляхи, имения, оставь арендаторам и останешься сам — с носом. *Sublāta causa, tollitur morbus.*¹ Без хозяина и дом — сирота (как многие просвещенные дворяне, князь с легкостью женит латынь с народной мудростью).

Княгиня же, перебирая унизанной кольцами рукой домашнее свое платье, размышляет не о хозяйственных нуждах его сиятельства, а о своих, знакомых матерям каждой девицы на выданье, обязанностях. Она знает — нынче летом государь, а значит и весь императорский двор, будет в Вильне. А дочь ее, княжна Авдотья, вздыхает Александра Гавриловна, выезжает четвертую зиму, однако успехи ее в свете, увы, невелики. Скромнее, чем ожидала княгиня, учитывая положение семьи и даваемое за княжной при-

¹ С устранением причины устраняется болезнь (*лат.*).

даное. За масленичные балы княгиня смирилась было с тем, что дочери не суждено составить блестящую партию. Однако возможность сойтись с лучшими петербургскими фамилиями в обстановке, далекой от столичной чопорности, вновь оживляет ее матримониальные мечты: она переводит серые прозрачные глаза свои на князя и он наконец читает в них согласие.

— Вот и славно, княгинюшка, вот и славно, — целует он супругу в еще нежно-розовую со сна щеку и быстро — покамест та не передумала — выходит из гостиной.

* * *

И никто, никто не потрудится объяснить Александре Гавриловне, что ежели государь и доберется до дальних и пыльных границ безбрежной своей империи, то лишь оттого, что многолетние слухи о войне с Буонапартом подтвердятся. А значит, и Вильна, и все западные губернии окажутся на самом что ни на есть передовом рубеже наполеоновской армии. Впрочем, сам князь следом за графом Федором Васильевичем был свято убежден, что войне с «Буонапартием» не бывать. Давние приятели по Англицкому клубу, Ростопчин с Липецким с неделю как со вкусом обсуждали выгодный мир с турками: Бессарабия присоединена к России, гордый росс, как исстари, встал на берегах Дуная. Мир, мир!

А Буонапарте — что?

— Не хватит у корсиканского выскочки наглости замахнуться на Россию-матушку, — повторяет то и дело князь. — Чай, не наполетанское королевство — откуси да выплюни.

«И не Пруссия, Австрия, Португалия и Италия», — начнет перечислять сидящая рядом с французским романом дочь его Авдотья. Но только про себя. Одно перечисление успехов «маленького капрала» приводило у старшего Липецкого к разлитию желчи и дерганью старой, полученной в турецкой же кампании, колотой раны в правой ляжке. «Далеко шагает, пора унять молодца!» — цитирует он старика Суворова, заканчивая сими златыми словами любые дискуссии о Буонапарте.

А Авдотье (как, впрочем, любой барышне ее круга) был симпатичен свежее испеченный император: вознесшись ниоткуда, он усмирил революцию и покорил полмира, а покорив, бросил его к ногам вдовы Богарне. Помилуйте, есть ли на свете что-нибудь романтичнее? Наполеону повезло быть воплощением романтического героя в эпоху культивирования романтизма, — заметим, два с лишним века спустя никто из полководцев так и не смог его в том переплюнуть. И пусть развод двух любящих сердец немало нашу княжну опечалил, но (как писала Авдотья сердечной подруге Мари Щербицкой) трагедия императора в том и состоит: прежде вынужден он думать о процветании подвластной ему империи, и лишь засим — о личном.

Тем временем из Петербурга, из кругов, весьма близких к Аничкову, плыли в старую столицу эпистолярные сплетни: мол, сам государь Александр Павлович дважды отказал Буонапарту в супружеском — и морганатическом! — счастье. Сначала в руке великой княжны Екатерины, а два года спустя и великой княжны Анны, спешно обрученной с принцем Оранским, — лишь бы не досталась наглому корсиканцу. И об этом тоже жале-

ла Авдотья, ибо сей отказ полностью рушил ее надежды увидеть блестящего Буонапарте среди ликующей толпы где-нибудь неподалеку от Успенского собора. О пышной императорской свадьбе мечтала княжна, не о войне.

О войне она и не думала.

* * *

Сборы в имение каждый год повторялись с привычностью кошмара. Степенный московский дом Липецких перевернут был вверх дном — двигали мебель, снимали картины и зеркала, наполняли доверху дорожные сундуки. Княгиня металась по комнатам, вздымая юбками неизбежный при великом летнем переселении сор из оберточной бумаги, веревок и сена (им прислуга обкладывала посуду и хрупкие безделушки из гостиной). Теснились во дворе подводы — какие пустые, какие уже просевшие под господским скарбом. Перекрикивались с бестолковой в предотъездной суете дворней возницы. Жмурились, отмахиваясь от мух, разбитые лошади с подвод. Свесив языки и тяжело дыша, лежали под экипажами дворовые собаки.

А в господском доме беспрестанно что-то падало, звенело, хлопало. Хозяйская рука раздавала оплеухи щедрее обыкновенного. Николеньку с дядькой, от греха подальше отправили на прогулку по Тверскому, старшие же брат с сестрой сидели тише мышей на широком подоконнике отцовской библиотеки меж тяжелыми гардинами и зеленоватым оконным стеклом, деля меж собою крепкое берсдорфское яблоко. Они грызли яблоко, сохраненное с прошлого урожая в сухих и прохладных подвалах московского дома, и лишь переглядывались, услышав

особенно громкий маменькин взвизг: совсем юные, вчерашние дети — хоть одна, ежели завтра замуж навсегда оторвется от родимого дома, а второй не сегодня завтра отправится умирать за Отечество. Но покамест Алексей перелистывал любимых своих философов, а Дуня, сдвинув рыжие брови, вчитывалась в брошюрку некоей Олимпии де Гуж (опусы Олимпии, почти двадцать лет запрещенные во Франции, тайно были вывезены Алексеем на дне сундуков из Европы).

«О, женщины! Когда же вы прозрете? — читала княжна Липецкая, девятнадцати лет от роду, а молодой князь Липецкий, двадцати двух годов, прятал улыбку, видя ее озадаченное лицо. — Что получили вы от Революции? Или вы боитесь, что наши французские законодатели снова спросят: “Женщины, а что же у вас общего с нами?” — “Все”, — ответите им вы». Авдотья растерянно оглянулась на брата, но тот сделал вид, что крайне увлечен *Phänomenologie des Geistes*¹. Сдержав пораженный вздох, она вернулась к книге.

— «Довольно прятаться за спиной у мужчины! Что есть брак, как не могила доверия и любви?» — продолжала мятежная Олимпия. Дуня испуганно вздрогнула. Могила?! Доверия и любви?!

Тем временем за стеной библиотеки происходила сцена, вполне иллюстрирующая страстные воззвания мадам де Гуж. Утомленная сборами Александра Гавриловна в сердцах не удержалась и выдала не успевшему укрыться в Англицком клубе папеньке истинную причину своего

¹ «Феменология духа» (нем.) — работа Г.В.Ф. Гегеля.

нежелания отправиться на лето в бывшие польские земли — в Трокский уезд.

— Бесстыдники! — подбородок княгини дрожал от возмущения. — Вводят своих любовниц в порядочный круг, возят на балы!

Княгиня отчаянно ревновала: о ту пору полячки имели репутацию роковых соблазнительниц. А российские орлы — недавние покорители Польши — с легкостью ловились на крючок и вознаграждали себя за военные победы. Почитая (всуче) супруга отчаянным ловеласом, княгиня не желала вновь оказаться рядом с обольстительной приманкой. И пусть в барском доме и в ближайшей к дому деревне барыня «искоренила искуc», заселив их людьми из своего калужского имения, опасный соблазн так и витал в воздухе западных губерний.

— Ангел мой, Господь с тобою, — преодолевая некоторое сопротивление, князь прижал седеющую голову ее сиятельства к своей груди. И пока супруга что-то жарко шептала ему в бархатный жилет, замер, потерянно глядя в мертвый зев камина. Он знал, что сильно виноват перед женой. Но знал также, что амурные дела не имеют к его постыдной тайне никакого отношения. И что уж лучше прослыть ветреником, чем открыть своей Александрин страшную истину.

* * *

Наконец провожаемые толпой дворовых во главе со старой нянькой, со слезным поцелуем приложившейся к барынинному плечу, с Божьей помощью выехали со двора и медленно, вслед за такими же вереницами семейных помещичьих обозов покатались в сторону летних своих

резиденций. Княгиня расправила юбку дорожного платья и вздохнула, оглядываясь на городской свой дом. Она знала, что прислуга, в последний раз истово перекрестив бар на дорожку, вмиг изменит строгому домашнему распорядку: праздный лакей сядет у крыльца брэнчать на балалайке, горничные примутся точить лясы у ворот. Мимо них, щелкая орешки, будут прохаживаться приказчики из ближней лавки. Москва на лето плотно захлопнет ставни, опустеет и притихнет. В садах за бланжевыми, охряными, кофейными фасадами станут заливаться разве что соловьи да голосит по барским прудам лягушки, вырастет вдоль мощеных дорог никем не скашиваемая трава... И еще явственнее станет ее деревенская суть.

Вглядимся вслед за княгиней из окна дорожной кареты назад и мы. И вздохнем — но о другом. Через четыре месяца той Москвы, которую знает ее сиятельство, не станет.

ГЛАВА 2

Цвети, в виду двойной лазури
Родных небес, родной реки
Затишье, пристань после бури
И мрачных дней, и дней тоски.

Петр Вяземский

В то время планета наша весила на несколько миллиардов душ меньше, небеса населяли лишь птицы да ангелы, землю — исключительно натуральный, а не искусственный — разум. И потому та жизнь кажется нам сейчас

более наполненной свободным пространством, воздухом и покоем. Мы смотрим на нее через призму времени, полного живописных нюансов, — у картинки отсутствует четкость, но сила воображения делает прошедшее в сто раз привлекательнее нашей отфотографированной и растиражированной реальности. Оглядываться, писал Бродский, занятие много более благодарное, чем смотреть вперед. Добавим: попытка заглянуть в далекое прошлое помогает забыть настоящее — тем и ценно.

И вот мы пристально, до рези в глазах, всматриваемся в растекающиеся во все стороны от древней столицы пылящие караваны. Подобно современным дачникам, московские баре отбывают в летние свои резиденции — подобно, однако с бóльшим размахом. По Литовскому тракту, через Смоленск, всю тысячу без малого верст, едут они без спешки, со всевозможным комфортом располагаясь в шатрах и палатках, откушивая чем Бог послал — а точнее, предусмотрела кухарка: жареной телятиной и индейкой, пирогами с курицей и мясом, сдобными калачами с запеченными в них целыми яйцами. Останавливаются у гостеприимной провинциальной родни дней на пять... А после вновь трогаются в путь, в тщетной попытке спастись от вездесущей пыли плотно задергивая шторки безразмерных карет.

Перед каретой, в которой сидели трое младших Липецких, мерно покачивался высокий кузов родительского экипажа. Алексей, с серым от пыли лицом, дремал. Николенька, дюжий и неуклюжий, как медвежонок, с детской радостью приветствовал каждый замеченный издалека верстовой столб. Одна Авдотья не могла ни

заснуть от жуткой тряски, ни должным образом сосредоточиться на иной, после страстной Олимпии, книге. «Женщина рождена свободной и равной в правах мужчине, — крутилось в ее голове, и Дуня все не могла понять, как ей к этому относиться. — Мужчины, способны ли вы быть справедливыми? Этот вопрос задает вам женщина. Вы не можете приказать ей молчать. Скажите мне, кто дал вам право унижать мой пол? Ваша сила? Ваши таланты? Взгляните на нашего Мудрого Творца, на величие природы, к гармонии с которой вы стремитесь, и, если сможете, найдите еще хоть один пример такого же деспотизма».

Дуня смотрела на создание нашего Мудрого Творца за окном экипажа и, размышляя над мадам де Гуж, день ото дня чувствовала, как постепенно теплеет воздух вокруг.

И вот, спустя три недели после выезда из Первопрестольной, перед умиленным взором путешественников возникли родные леса и пуши. Зашелестели сады: уже отцветшие, но здоровой июньской зеленью обещавшие хозяевам недурной урожай сапежанских груш, мирабели и шпанской вишни.

Дуня любовно глядывалась в живописные холмы, взблескивающие солнечной искрой в низинах озера с замшелыми валунами: разнообразный пейзаж, ничего общего не имеющий с калужским их имением, где в обе стороны от дороги уходила одна плоскость вызревающих полей. Здесь же, в бывшей Речи Посполитой, владения непокорной шляхты были розданы преданным великорусским родам, и жизнь текла хоть и провинциально-сонно, но все-таки иначе, чем в российской глубинке. Сама

шаткость, недавность принадлежности этой земли к империи придавала ей нерусскость, отличную, как и здешний пейзаж, от горизонтали российских степей. То была вполне европейская, не режущая глаз экзотика, как легкий польский акцент во французском у местной аристократии. Это-то и нравилось Авдотье, никогда не выезжавшей за границу (скучные воды не в счет).

Сейчас она, отбросив дорожную скуку, приподнявшись над сиденьем и высунув голову в окно, на спор с младшим братом ждала, когда за следующим поворотом покажется Приволье: сначала ворота, а за ними — начисто выполотая к барскому приезду и посыпанная светлым речным песком, по обе стороны обсаженная старыми липами подъездная дорога. В конце ее выростала громада главного дома. Огибая внушительных размеров крыльцо, поднималась к палладиевскому фасаду о четырех колоннах парадная лестница. Дом, будто корабль, торжественно вплывал в липовую аллею. Правое и левое крылья здания откинута были назад, другая сторона усадьбы служила уютным пристанищем для семьи и друзей. Замкнутый мир, построенный вокруг круглого пруда и спускающегося к речке парка с беседкой.

— Вон, вон ворота! — вскричал Николенька.

И правда, показались ворота, наследие непокорного пана, которому раньше принадлежали и эта земля, и этот дом, пусть и изрядно перестроенный маменькиными (и итальянского архитектора) стараниями.

За воротами с поросшими мхом львами уже собралась дворня, и Авдотья затормошила погруженного в немецкий роман старшего брата:

— Алеша, мы приехали, приехали! Да оторвись же ты, смотри, красота-то какая!

Брат послушно перевел глаза от готических строк к зелени подъездной аллеи: меж стволов старых лип мелькал во всполохах солнца травяной ковер в россыпи мелких белоснежных маргариток, а дальше, по левую руку от приезжих, темнела знаменитая на весь уезд роща с трехсотлетними дубами.

* * *

По приезде каждый занялся своими делами: батюшка уединился в курительной с управляющим, матушка раздавала приказы разбирающей пожитки дворне.

— Акулька, аккуратнее, не разбей! — доносилось с крыльца. — Ах, Боже милостивый, что с тобой нынче, Кондрашка, носи это на кухню!

Стараясь не попасться матери на глаза, трое младших Липецких прокрались мимо неплотно затворенной двери кабинета. Оттуда слышен был сухой стук костяшек деревянных счет и бубнящий голос Андрея, барского управляющего:

— За мельницу — тысяча рублей. Залогов из казны обратно — десять тысяч. Сена можно продать семь тысяч пудов — кладем по сорок пять копеек за пуд. Из сих денег десять тысяч в Совет за Приволье...

Алеша, поморщившись, потянул сестру за руку — дела хозяйственные вызывали у него явное отвращение. Николенька уже бросился вперед, более всего на свете боясь, что родители усадят его за зубрежку стиха из Сумарокова, а то и за чтение «Истории России». Губернер

его, месье Блуа, остался страдать от инфлюэнцы в московском доме, и младшее сиятельство не без оснований надеялся, что с известной ловкостью сумеет избежать частых педагогических порывов любящих родителей. Радостно помахав старшим брату с сестрой, он вылез прямо из французского окна в малой гостиной и вприпрыжку побегал на псарню — осматривать свежий щенячий помет. Алеша же с Авдотьей вместе прошли через центральную ротонду к низкому широкому крыльцу с другой стороны дома, где, не сговариваясь, взяли за руки.

— Ах, Алеша, как хорошо! — Дуня глубоко вздохнула и зажмурилась.

Началось привольное лето. Хотелось, как Николенька, вприпрыжку обежать все знакомые места — от ручья с резным мостиком до лебединого домика и ежевичных зарослей внизу у речки.

— Погоди, — протянул брат, отпустив ее ладонь. — Неужто думаешь резвиться, словно неразумное дитя?

Дуня даже не обернулась, заранее зная, что он собирается сказать.

— Ведь мы тут по твоей милости, ма шер. Больше никаких игр в горелки. Вспомни-ка лучше о запертых в сундуках муаре и гризете да о тоскующих по казармам храбрых уланах да гусарах! Каков выбор нынче в Вильне: сам государь и гвардия!

— Сам вспомни-ка лучше о колете своем да рейтузах! Больше никаких философов, братец! А то натянул бы мундирчик и отправился б со мною в Вильну повидать будущих товарищей!

И зная, что теперь-то уж они, наверное, испортили друг другу настроение — *donnant donnant*¹ (взялся язвить, так уж сестра тоже за словом в карман не полезет), — Дуня показала ему беззлобно язык и сбежала по пологим ступеням в сад.

* * *

Ужинать сели засветло, распаренно-ленивые после смывших многодневную пыль ванн и переодетые в чистое. Расположились вчетвером (Николенька с дядькой столовничали на детской половине) за круглым столом в малой столовой. Ставни по Дуниной настойчивой просьбе были приотворены, впуская вместе с июньской мошкаррой-кровопийцей медово-свежий запах жасмина и приторный — бенгальских роз. Поглядывая в высокие окна на нежнейший закат за речкой, привычно выискивали среди розового и золотого блистающую нездешним светом комету.

Что предвещала она, отчего светила бедой в очи? Все — от простолюдина (откровенно) до государя (втайне) — веровали, что небесное тело не просто так возникло на божественном небосводе. Это был знак, но что он означал, было неизвестно. Хорошего, по русской традиции, не ждали. Хорошего, по той же традиции, и не произошло.

В вечернем свете, чью мягкость не могло испортить даже висевшее на горизонте страшноватое небесное тело, маменька с папенькой — он в старом мундире своего полка, она — в не туго затянутом витым шнуром ка-

¹Услуга за услугу (*фр.*).

поте — казались братом и сестрой. Столь похожими супругов делают лишь многие годы совместной жизни. Да и обращались они меж собою давно уже с родственной нежностью — чуть нервной у маменьки, снисходительной — у отца. Казалось, если идеальная пара и ссорилась, то лишь по причине карточных долгов отца (впрочем, необременительных для их изрядного состояния) и мелких вспышек ревности матери. Еще одним семейным камнем преткновения оказалось полное отсутствие интереса старшего сына к военной службе. Четыре года в Гёттингенском университете, выторгованные Алешиним молчаливым упрямством и маменькиными слезами, не оградили его полностью от исполнения долга дворянина. И потому перспектива службы висела над Алешей подобно дамоклову мечу.

Следующей в списке родительских забот стояла дочь: канонам красоты не соответствовала, кротостью нрава не отличалась. И потому могла более рассчитывать на свое немалое приданое, чем на страсть претендента. Тема замужества, вздохнула про себя Авдотья, еще не раз будет поднята маман за семейным обедом, но — тут Дуня встряхнула влажными после мытья рыжими кудрями — пусть! Все равно впереди череда беззаботных дней, прозрачных и душистых, как свежий липовый мед. Домашние радости и невинные удовольствия среди сельских красот. Ведь то, что в столицах являлось невозможным и предосудительным, в деревне было и возможно, и прилично. Возможно — не размышлять часами о своем дневном туалете, прилично — не делать замысловатых причесок. Рано ужинать и рано ложиться. А также кататься

верхом, купаться, как нагреется в июле вода в купальне, и читать (Авдотья еще в апреле заказала себе книги у де Морья и теперь с нетерпением ждала их приезда: как бы не побились).

После ужина княжна, поцеловав папенькину руку и получив от него ответный поцелуй — как клонул в лоб, — ушла к себе. Дунина девушка, Настасья, заплела ей на ночь косу.

— Опять... — вздохнула барышня, вглядываясь в посмевшие высыпать за время пути ненавистные веснушки.

В те времена и еще сто с небольшим лет с момента описываемых нами событий правила оставались неизменными: ручки и лица крестьянок были черны от загара, прачек и кухарок — красны, и только барышни были белы, как лелейные лилии, ибо не знали работы, а знали, во всякое время года — перчатки и шляпки с капорами (расскажи кто нашей княжне о современных уловках искусственного загара и модных на парижских подиумах фальшивых же веснушках, Авдотья бы ему просто не поверила).

— Небось, — отвечала тем временем на вопросительный взгляд хозяйки Настасья, позевывая и мелко крестя рот. — Огурцом выведем. Никто и не приметит. — И добавила: — А косу вашу ореховым отваром полоскать станем, так потемнеет.

Авдотья с надеждой вскинула глаза: неужто есть надежда сменить отвратительный рыжий на благородно-каштановый?

— Все женихи наши будут! — подмигнула ей Настасья в зеркало. — Давайте, барышня, в постель. Утро вечера мудренее.

И, чувствуя, как Настасья подтыкает вокруг нее одеяло, Авдотья мгновенно провалилась в сладкий сон.

* * *

Лучи летнего солнца через щели в портьере добрались до Авдотьиной постели, жаркой полосой легли на щеку, отразились от бока медного чайника — полыхнули в глаза.

Дуня проснулась. Чай в постели в неге июньского утра — вот оно, начало ее долгого счастливого лета.

Отставив чашку, Авдотья зажмурилась и, блаженно потянувшись, кликнула Настасью. Та вбежала, раздернула гардины. Дала хозяйке умыться, поднеся под конец кусок льда с ледника, чтоб та натерла им щеки: для нежного девичьего румянца. Настасья же помогла застегнуть пуговицы легкого голубого платья.

— Сундуки-то ваши, барышня, еще не все разобрали. То, что есть. Да вам и идет. — Настасья усадила хозяйку перед зеркалом.

Авдотья взглянула на разрумьянившуюся безо всякого льда Настасью. Вот уж кто хороша: ровные брови вразлет, блестящие черные глаза и тяжелая каштановая коса. Для Дуни не было секретом, почему маменька определила ей в девушки эдакую крестьянскую Венеру: Александра Гавриловна рассчитывала, что расцветающая мужественность Алексея не пропустит хорошенькой горничной. Мальчишки должны становиться мужчинами и лучше уж с проверенной девушкой в доме, чем с особами с опреде-

ленной репутацией на Сретенской горке. Настасья была не против: молодой барин ей нравился, а кому не придется по нраву такой молодец? И нарочно сталкивалась с Алексеем в коридорах, будто невзначай прижимая его к стене налитым бедром. Впрочем, мечтательный Дунин брат, к великой Настасьиной досаде, не обращал на ее демарши ни малейшего внимания.

И вот сейчас Настасья расчесывала вьющиеся волосы юной княжны — рыжие, тонкие, некрасивые — и вздыхала про себя. Где справедливость? Почему вся краса в семье досталась старшему? Мужчине, а не девице, для которой она в тысячу раз важнее? Сама Дуня также с привычным неодобрением вглядывалась в маловыразительное свое лицо, в очередной раз констатируя: никто не возьмет ее по любви! Уж больно дурна.

Тут стоит отметить — век девятнадцатый, романтический, унаследовал от рационального восемнадцатого четкость определений — вплоть до описания «истинной» красоты. Шаг влево и вправо, который мы держим за оригинальность, не признавался. Так, «Словарь любви» господина де Радье педантично перечислял все тридцать признаков идеальной красавицы, где на первом месте была заявлена «молодость», а на последнем, тридцатом, «скромная походка и скромное поведение».

И с тех пор любая просвещенная девица сверяла по сему словарю совершенную внешность со своей, несовершенной.

Авдотья, будучи сама с собою честной, нашла у себя более двадцати расхождений из тридцати — включая то самое «скромное поведение». Увы, лицо княжны было со-

вершенно не во вкусе ее эпохи, чтобы убедиться в этом, достаточно изучить поэтические описания той поры.

Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые, —

пел Батюшков.

Ему вторил Баратынский, почти слово в слово повторяя навязчивый идеал:

... Власы златые
В небрежных кольцах по плечам,
И очи бледно-голубые.

До появления первой романтической брюнетки — Татьяны Лариной — оставалось еще тринадцать лет. Немудрено, что Авдотья не на шутку комплексовала: где златые локоны? Где нужного цвета очи? Рот слишком велик. Подбородок — остер. Плюс широкие, доставшиеся от отца мужские брови, тогда как в моде были тонкие, с еле заметным изгибом. Выщипывать их, по введенной Руссо моде на естественность, было не принято, так что бедная моя княжна застыла меж Сциллой и Харибдой — необходимостью соблюдать натуральность и тем трагическим фактом, что ее натуральность не подпадает под идеал.

А покамест Дуня привычно кручинилась, Настасья заколола последнюю шпильку в узле на затылке. Нетерпеливо дернув головой на попытку пригладить влажной ладонью мгновенно выбившийся легкий вихор, — и так сойдет! — мельком улыбнулась Настасье и выбежала из комнаты.

Завтрак был уже подан: на круглом столе кипел самовар; на подносе лежала целая горка домашнего печенья; рядом — нарезанный ломтями холодный ростбиф. Кроме ростбифа (папенька любил завтракать плотно) подавали горячее молоко, кашу, теплый хлеб, яйца и мед. Княгиня заваривала китайский чай в высоком чайнике и разливала домашним с густыми сливками, сама сливочно-нежная в утреннем белом шалоновом¹ капоте и в придерживающей косу кружевной головной накидке. По обе стороны от нее сидели старший сын и супруг. Алексей, судя по платью, успел совершить утреннюю прогулку и нынче держал в руках книгу в красном кожаном переплете. Дуня мельком глянула на название — то была поэзия, что верно более, чем тяжеловесная философия, соответствовало нежному июньскому утру. Сергей Алексеевич, в халате и в бумажном² колпаке, уж допивал свою широкую, похожую на полоскательную, чашку.

— Хорошо ли спалось, душа моя? — поцеловала Александра Гавриловна дочь в лоб и, не дождавшись ответа (разве можно плохо спать в Приволье?), продолжила начатую с мужем беседу: — С завтрашнего дня и начнем. С Дзенгелевских и Габиx?

Отец поморщился: соседей-шляхтичей своих он недолюбливал, как и они его. С поляками, говаривал князь, должно иметь мягкость в приемах и твердость в исполнении. Впрочем, и Александра Гавриловна чувствовала себя с польскими соседями скованнее, чем с Щербицки-

¹Шалон — разновидность легкого шерстяного сукна.

²То есть хлопчатобумажном.

ми и Дмитриевым. Но делать нечего: кроме репутации доброго соседа, визиты вежливости важны были и для получения свежих новостей и сплетен: те, что приходили вместе со столичными газетами, запаздывали почти на месяц. А государь уже в Вильне...

Догадавшись по материнскому смущению о ее мыслях, Дуня пожала плечами:

— Мы с Алешей могли бы, как спадет роса, поехать к Щербицким. Через лес это верст семь, не боле. Узнаем все новости и вернемся к чаю. Да, Алеша?

Брат рассеянно кивнул, как всегда, склоняясь перед живой настойчивостью сестры. Ехать он не желал — стоило ему появиться в любом из соседних имений с девицами на выданье, как мамыши принимались задавать ему многозначительные вопросы о будущем, папаши — хлопать по спине, а их дочери — жеманно улыбаться.

Тем временем княгиня обменялась с Дуней предостерегающим взглядом: Мари Щербицкая лет с двенадцати была влюблена в Алешу, но маменька к той семье относилась с осторожностью: в Петербурге Щербицкие жили на Английской набережной, на широкую ногу, но дела их, по слухам, были весьма расстроены, имения перезаложены, а приданое обеих дочерей таяло на глазах, проматываемое отцом, помешанным на трюфелях и прочих гастрономиях. Надежды на получение наследства также были невелики: дед Щербицкий столь страстно любил французскую оперу, что вот уж пять лет сожительствовал в роскоши с французской же певичкой. Однако Дуне, лишенной матримониальных расчетов, казалось, что девицы Щербицкие чудо как хороши. Кроме того, всю зиму

они с Мари и Анетт обменивались письмами, комментируя кавалеров на рождественских и масленичных балах. Но ведь в письмах всего не напишешь...

— Что ж, — решила княгиня, — дело хорошее. Развеетесь. Алешу от книг оторвешь. — И мать повернулась к супругу: — А я займусь теплицей, мон шер.

Сказано — сделано. Бодро выехали: Алеша — на своей рыже-чалой английской лошадке, Дуня — на ласковой мышастой Ласточке. Не доезжая до ворот, свернули с аллеи к дубовой роще. Там лошади пошли шагом.

— Ну неужели тебе совсем, совсем не нравится Мари? — не унималась Дуня, заглядывая в мечтательные, серые, как и у нее, глаза брата. Блики солнца дрожали на бежевом фраке, но цилиндр оставлял все лицо, кроме подбородка, в тени. И, близоруко щурясь, она видела лишь улыбку, весьма ироничную. — Или тебе нравится Анетт?

— Барышни Щербицкие похожи на черных галок, — сказал Алеша, легонько шевельнув поводьями. — Болтают так много и так неумно, что я, ма шер, сразу начинаю подле них страдать мигренью. Согласись, сложно в таком состоянии сделать выбор.

— Неправда! — пылко вступилась за подруг Авдотья. — Мари схожа с мадам Рекамье, а у Анетт дивный цвет лица и зубы, как жемчуг.

— Еще добавь про уста, как кораллы, — засмеялся Алексей.

— И добавлю! И глаза — ты заметил, какие у обеих глаза? И ровные брови, и щеки с ямочками. (Девушки Щербицкие, как уже понял читатель, почти полностью подпадали под идеальный образ из «Словаря любви»). —

Дуня опустила глаза на руки в лайковых перчатках, от обиды на судьбу слишком крепко сжав поводья.

— Так ты едешь к нашим записным прелестницам, чтобы в очередной раз увериться, что ты дурнушка?

— И вовсе нет! Они мои подру...

— Они твои соперницы, mein Herz¹, — перебил Алексей. — По крайней мере, покамест ты не найдешь себе мужа. А вот к чему тебе с ними соревноваться?

— О чем это ты?

— Вряд ли когда-нибудь твои глаза станут небесно-голубыми, а уста — коралловыми, — безжалостно припечатал брат. — Но у тебя есть Приволье.

— При чем тут, скажи на милость, Приволье? — нахмурилась Дуня.

— Приволье. И дом в Москве. И калужское имение. Все эти сотни крестьянских душ, и пахотные земли, и сады...

— Я не понимаю тебя... — Она даже остановила подрагивающую ушами кобылу — будто и Ласточка не могла уразуметь, куда клонит молодой хозяин.

— Ты независима, mein Herz, — цокнул брат, понукая и свою, и сестринскую лошадек, — ты богата. Так к чему выходить замуж, коли сама знаешь, что некрасива и суженый станет волочиться за одним твоим приданым?

Дуня не отвечала, с трудом сдерживая слезы. Неужели даже любящий брат не способен найти в ней достоинства, которых не замечают чужие равнодушные глаза? И все же, все же... Алешины слова эхом перекликались с размышлениями мадам Олимпии.

¹Сердце мое (нем.).

— Можешь заняться управлением имением, — продолжал тем временем он. — Я с удовольствием предоставлю тебе эту честь после смерти батюшки. Иль заделаешься новой мадам де Сталь. Николенька, к вящей радости папá, отправится маршировать в гвардию, а мы будем делить хлеб и кров. Собираться за ужином и иногда за обедом...

— Ты, похоже, уже все обдумал? — Авдотья неверяще смотрела на брата. Нет, не случайно он привез ей в Москву брошюрку Олимпии. — А как же дети? Или для тебя нет супружеского счастья? Пусть прошла страсть, но остается нежная привычка, и...

Алексей поморщился:

— Да-да, я помню. Это когда супруги окончательно и бесповоротно погружаются из поэзии в область прозы? Он целует тебя в щеки, ты его в лоб, а разливая ему чай, ты прихлебываешь немножко, чтобы знать, довольно ли он крепок и подслащен. Иногда ты садишься за клавикорды, а супруг, облокотясь на стул, слушает тебя с умильным вниманием, переворачивая листы нотной тетради. Все? А, нет, совсем запямятовал о резвящихся в саду маленьких ангелах. Довольно тебе?

— Так что ж? — обиженно взглянула из-под шляпки Авдотья. — Мадам де Гуж права? И брак — могила доверия и любви?

Алексей пожал плечами:

— Нет, это ты лучше скажи: зачем учила географию и мировую историю? Поверь, mein Herz, все твои претенденты в мужья искренне убеждены, что если женщине и нужна грамота, то разве что для написания любовных посланий!

— Неправда! — вспыхнула Дуня. — Смолянки учат и математику, и химию, и физику, а за одну из них сватался сам Гаврила Романович!

— Еще одно подтверждение моей правоты, — пожал плечами брат. — Сколько их, Державиных, на всю Россию-матушку? А остальные, лишь узнав о девице, что та «грамотница», обегают ее за версту!

— Да? А я уверена, что мадам де Гуж, хоть и грамотница, а вышла замуж и уже воспитывает внуков! — выпустила последнюю стрелу Авдотья. И пожалела.

— Мадам де Гуж, — усмехнулся Алексей, — отказалась от блестящей партии, поскольку во Франции жена обязана получать одобрение мужа, прежде чем печатает свои произведения, а для нее сие было неприемлемо. И бабушкой стать она не успела.

— Отчего же?

— А оттого, mein Herz, что Революционный трибунал отрубил ей голову.

Некоторое время они ехали в тишине. Дуня молчала, впечатленная судьбой Олимпии и той печалью, что звучала в голосе брата. А меж тем судьба наделила его всеми дарами: умом, внешностью, положением в обществе... «Возможно, — думала она, — в Германии он, подобно юному Вертеру, полюбил? И сейчас Алешино сердце разбито?»

— Судя по твоему молчанию, mein Herz, шансы мои на сельскую идиллию а-ля Руссо невелики, — прервал ее мысли брат. — Ты, вопреки возможному счастью, исполнишь положенную роль жены и матери. А я отправлюсь на войну с персами или вот еще — с французом. И мне оторвет ядром ногу, а лучше уж — сразу голову.

— Не говори глупостей! — Дуня была рада, что разговор ушел в сторону. — Не будет никакой войны, а твоя дурная голова не нужна даже турецкому ядру...

Последнюю фразу она крикнула, пустив свою лошадь в галоп — только бы не продолжать страшного разговора. Мысль, что брат может погибнуть или вернуться калекой, была невыносима. Ни картечь, ни удар сабли не смели изуродовать этого лица с правильными античными чертами. С грустью подумалось, что мечта о любви, которую она лелеяла в глубине души, была невозможна для нее, дурнушки. Зато более чем доступна красавцу Алеше. И вот парадокс: похоже, ему она вовсе и не нужна.

* * *

Анетт и Мари тотчас же увлекли Авдотью в малую гостиную, предоставив Алексею обсуждать со старшим Щербицким герцога Ольденбургского с графом Аракчеевым. Скрываясь за дверью, Дуня почувствовала себя виноватой: Алешино лицо чуть не позеленело от предстоящей дискуссии на ратные темы — войну он ненавидел, чем вызывал в лучшем случае недоумение, а в худшем — пренебрежение среди патриотически-восторженной молодежи. Увы! Здесь, в Трокском уезде, никто не мог, да и не желал поддерживать беседу о «Über das Erhabene»¹.

— Надобно успеть поболтать, покамест не позвали к обеду... — усадила Авдотью в кресло Мари. Княжна оглядела подруг скорым, но цепким взглядом. Москва неплохо снабжалась модным товаром, но между Кузнец-

¹ «О возвышенном» (нем.) — эстетический трактат Ф. Шиллера.

ким мостом и Невским проспектом все еще существовал некий зазор, и Дуне никак нельзя было выказать себя провинциалкой. Никаких «Журналь де дам» не требовалось: кивая сестрам, Авдотья впитывала ультрамодные детали, чтобы после поделиться ими с верной Настасьей. — У нас столько новостей!

— Мы вчера были в Вильне! — выпалила Анетт. — Видели государя!

— Граф Беннигсен устроил праздник в своем имении в Закрете!

— Бал был блистательный — и туалетами, и освещением. Светло, как днем!

— А сколько цветов, Эдокси!

— У каждой дамы по букету у куверта!

Авдотья, переводя взгляд с Анетт в розовом на Мари в бледно-лиловом, некстати вспомнила нелестную характеристику, данную братом. Нет, конечно, не галки, а райские птицы, но...

— А у графини Закревской из декольте выпала грудь — прямо в тарелку с заливным! — перебила ход ее мыслей Мари. — Сама Закревская! И с грудью среди телючих мозгов!

— Так не поверишь, она даже не прервала беседы с прусским посланником — обтерла ее салфеткой и уложила обратно в платье! Ни на йоту конфузливости — настоящая светская львица!

— А еще был фейерверк и катание на лодках! — продолжала захлебываться впечатлениями Анетт.

— И государь, ах, какой красавец, Эдокси! Стройный, высокий, глаза голубые, белокурый!

— А как ему идет форма Преображенского полка!
— Уже месяц живет в Вильне, и, право, город не узнать!
Весь день он на смотрах и маневрах, вечером увеселения...

— А как же Буонапарте? — прервала поток славословий Дуня.

— Все говорят о войне как о деле решенном! — отмахнулась от неприятного вопроса Анетт.

— Папá твердит, что если что и начнется, то и закончится тут, в западных губерниях. Нет никакой опасности для собственно русских земель. Наши молодцы дадут решительное сражение, и Наполеону ничего не останется, как сдаться, — пожала плечами Мари, явно повторяя слово в слово сказанное папенькой.

— Если наша гвардия сражается так же хорошо, как танцует... — мечтательно добавила Анетт. — Ах, Эдокси, мы ни разу так хорошо не проводили время, как этим летом! Даже масленичные балы в Аничковом, хоть и никакого сравнения, но зато чопорные, а тут видишь государя так близко, никто не кичится, все наслаждаются катаниями в открытых колясках, и теплыми летними вечерами, и музыкой...

— А впереди еще все лето! Подумай только, Эдокси! — И Мари облизнула губы, как кот перед сливками. — Целое лето!

* * *

По будням у Щербицких накрывали приборов на сорок. Взлетали парусами белоснежные скатерти. Звенел, ударяясь о русское серебро, французский фарфор. Слуги без суеты расставляли бутылки и графины (никаких дешевых цим-

лянских вин и самодельного шампанского из смородины! Из Петербурга загодя были отправлены в усадьбу токай и рейнвейн, малага и мадера, а также вездесущая вдова некоего Клико). Одновременно со звоном брегета Щербицкого-отца раздался звук колокольчика, и дворецкий провозгласил: «Кушание подано». Счастливый родитель Анетт и Мари — Лев Петрович — первый занял место во главе стола. Подле него, прошелестев платьем, села супруга. А далее — дочери, гости, приехавшая навестить дальняя родня и приживалки, столь древние, что продолжали по моде изыщного и пошлого XVIII столетия туго стягивать себе талию, и чуть поскрипывали при ходьбе (в описываемую краткую эпоху к страстному дыханию возлюбленных не добавлялся много менее романтичный скрип корсета — единственно по той причине, что корсет был отменен и женщины, как рабы, извлеченные со своей галеры, пару десятилетий дышали свободно). Слуги ловко отодвигали стулья, на которые опускались более или менее объемные седалища. На противоположном от сына конце стола поместился отец Льва Петровича — согбенный годами, но не нравом генерал Щербицкий со своей французской певичкой, кою прочие дамы привычно игнорировали. Мельком перекрестившись — как говорится, машинально — приступили к трапезе. Лакеи бросились разносить тарелки по чинам, зажевали уста, загремели приборы, полилась, разбавляя благородное вино, в бокалы сельтерская (в жесте, который безжалостно осудят современные сомелье, в то время не было ничего провинциального: водой разводил рейнвейн Байрон, ему вторил, разбавляя шампанское, один из Людовиков). Фимиам от телячьих волованов смешивался с запахом ду-

шистой кельнской воды (от всех мужчин) и ароматом ре-зеды (от большинства дам) — тем, кто алкал разнообразия парфюмерных ароматов, следовало запастись терпением. Примерно еще на полвека. В разных концах стола пошла своя беседа

— Год высокосный, мон шер, всего ожидать можно... Как в Каракасе земля тряслась¹ — так бы и с нами, грешными...

— Мужик нынче пошел умный — ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, говорит, а оброк положите, какой сами знаете. Вот я и положил...

— ...сия дама пишет весьма занимательно, однако ж предпочла остаться анонимом — подписывается «Леди»...²

Всякий раз, как лакей вносил новое блюдо, сквозняк приподнимал легкую штору высокого окна, трепетали воздушные рукава ампирных платьев дам и легкие, как пух, старческие бакенбарды Щербицкого-отца.

Напротив Авдотьи оказался еще один добрый их сосед — барон Габих. Очень высокий, с длинным яйцеобразным голым черепом, он вечно щурил черепаший глаза, даже когда не держал в руках лорнета. Барону было за сорок лет, однако он еще очень молодил себя и под идеально пригнанным фракком явно носил корсет (талиа в те годы считалась таким же мерилем и мужской привлекательности, как нынче развитый трицепс). Авдотье Габих был любопытен: хотя бы тем, что никогда не говорил глупостей.

¹ 26 марта в столице Венесуэлы, городе Каракасе, произошло разрушительное землетрясение.

² Речь идет о первой публикации Джейн Остин, романе «Чувство и чувствительность».

В отличии, к примеру, от хозяина дома — мужчины не великого ума, сосредоточенного большею частию на жизни своего желудка.

— Алмаз кухни! — кипятился, перекрывая прочие голоса, Лев Петрович. — Почему же нельзя найти его в российских дубровах? Неужто наши хавроньи глупее итальянских?

Габих с непроницаемым лицом кивал, а лакей серебряной лопаточкой перекадывал с блюда на тарелку северского фарфора ломтик заячьего паштета.

— Возьмите, барон, к примеру, сей паштет! Ведь каково бы ни было его основание, наполненный трюфелями, он становится как табакерка, осыпанная бриллиантами!

— Трюфли! — хмыкнул старик Щербицкий с другого конца стола. — Неспроста их свиньи в грязи ищут. — Он недобро сощурился. — Зря стараешься, не выйдет амуров у французского foie gras¹ с православной кулебякою!

Рядом сидевшая певичка-француженка испуганно взглянула на старика, и тот успокаивающе накрыл ее белоснежные полные пальцы своей увитой синими венами рукою. Все дамы за столом, кто с усмешкой, кто с брезгливой гримасой, не преминули заметить этот жест. А Авдотья обменялась смеющимся взглядом с братом — сам старый генерал и был той самой кулебякой, живущей во грехе со своим французским деликатесом.

— А как по мне, ничего лучше штей нет, а без них и телячья похлебка сгодится, а то и рассольник с курицей! —

¹Фуа гра (жирная печень) (*фр.*). Специальным образом приготовленная печень откормленного гуся или утки.

продолжал генерал. — А бабка сего (тут, отлепившись от французской ручки, кривоватый от артрита перст указал на хозяина дома) гурмана, покойная Марфа Яковлевна, так и вовсе без каши дня не могла прожить. Обожала ее — и манную, и пшеничную, и крутую, и размазную, с изюмом, с грибочками, с мозгами да со сметочками...

Мари, чуть закатив глаза (разговор все дальше уходил от изысканной гастрономии), заметила:

— В прошлом году папа хотел натаскать наших гончих на грибную охоту. Давал щенкам лизать свои руки в трюфелях и выбирал самых к делу пригодных. И что вы думаете? Ни единого гриба не нашел — все сызнова выписал из перигорских лесов.

— К слову, о трюфелях, — пригубил барон венгерское. — Как вы знаете, император — их большой поклонник.

— Государь? — вскинулся Щербицкий, ободренный неожиданной поддержкой своей невинной страсти в высоких сферах.

— О нет. Я говорю об императоре Буонапарте.

— Этот воссевший на престоле Людовика маленький поручик имеет такое же право на императорство, как и я, — нахмурил брови Щербицкий и, кашлянув, добавил: — Впрочем, коли так, ему нельзя отказать во вкусе.

Габих чуть склонил яйцообразную голову.

— О да. А также в наличии непобедимой армии.

Анетт с Мари переглянулись с недовольными гримасками — никакая трюфельная тема не могла перебить тему военную, если за столом собиралось более двух мужчин.

— Похоже, Европа, колыбель христианской цивилизации, оказалась слишком мала для его амбиций. — В бесе-

ду неожиданно включился Алексей, и влюбленная Мари тотчас отложила вилку и стала слушать его с повышенным вниманием. — Это будет нашествие галлов — вслед за Александром Великим и Карлом XII.

— Именно! — воинственно закивал Щербицкий-отец. — А что нашли вместо сокровищ? Сырую могилу!

— Могил будут тысячи, — негромко, глядя на растекающиеся по тарелке остатки железа, ответил Алексей. — И как бы весь цвет русской аристократии в них не оказался. — Он помолчал. — Долго еще Россия станет оправляться от нашествия сего. Так, может, попытаться решить дело миром, покамест еще не поздно?

Алексей обвел мечтательными глазами сидевших вокруг стола — но встретил лишь упрямо выставленные вперед патриотические челюсти. Еще чуть-чуть, испугалась Авдотья, и они обвинят брата в трусости, и только хотела поднять голос в его защиту, как...

— Поздно. — С противоположного конца стола Алексею улыбался Габиx — от змеиной улыбки повеяло, как сквозняком, угрозой. — Прошлой ночью войска Буонапарте перешли Неман.

За столом все замерло — ни звона приборов, ни звука дыхания. Габиx с намеренной медлительностью промокнул крахмальной салфеткой тонкий рот, перевел глаза с побледневшего Алеши на приоткрывшего рот хозяина дома. А Дуня только удивилась про себя: не на черепаху стал похож барон, а на птицу. Да. На грифа, сидящего высоко на скале и оглядывающего долину в поисках падали.

— Началась война, господа.

ГЛАВА 3

В Тильзите Россия поклялась на вечный союз с Францией и войну с Англией. Ныне нарушает она клятвы свои и не хочет дать никакого изъяснения о странном поведении своем, пока орлы французские не возвратятся за Рейн, предав во власть ее союзников наших. Россия увлекается роком! Судьба ее должна исполниться. Не почитает ли она нас изменившимися? Разве мы уже не воины аустерлицкие? Россия поставляет нас между бесчестьем и войной. Выбор не будет сомнителен. Пойдем же вперед! Перейдем Неман, внесем войну в русские пределы.

Наполеон Бонапарт

Я не положу оружия, доколе ни единого неприятельского солдата не останется в царстве моем. Не остается нам ничего иного, как, призвав на помощь Свидетеля и Защитника правды, Всемогущего Творца Небес, поставить силы наши против сил неприятельских. Не нужно мне напоминать вождям, полководцам и воинам нашим о их долге и храбрости. В них издревле течет громкая победами кровь славян. Воины! Вы защищаете веру, отечество, свободу. Я с вами. На зачинающего Бог.

Александр Первый

Есть нечто странное, почти неестественное в доверии человека миру, который, казалось, не дает на то никаких оснований. Откуда берется в нас эта счастливая бездумность, эта уверенность в порядке вещей, в незыблемости цивилизации? Неужели, задаем мы себе снова и снова бессмысленный вопрос, накануне катастрофы наши предки не чув-

ствовали угрюмой поступи рока за спиной? В июне 1941-го? В июне же — 1812-го? Мы смотрим на умиротворенные лица на акварелях позапрошлого века, смеющиеся — на черно-белых фотографиях века прошлого. «Бегите! — стучим мы в непроницаемое стекло времени. — Спасайтесь! За вами — девятый вал, он раздавит вас, не оставив ничего живого!» Но они не слышат нас. А тем временем за нашей собственной спиной набирает глухую силу следующая волна...

Алексей с дядькой своим, Фомичом, добрались до Вильны за день до вхождения неприятеля. Город был в панике. Будто и не предполагалось годами столкновения с Буонапарте, будто не затем государь со свитой добрался до Вильно. А война вдруг явилась в полный рост, и француз оказался в нескольких верстах от усадьбы генерала Беннигсена: там, где еще совсем недавно царствовала в свете сотен свечей прелесть убранных бриллиантами обнаженных плечей польских и петербургских красавиц, блистало по-театральному пышным блеском золото гвардейских эполет, раздавался мелодичный звон хрусталя и шпор.

Нынче же ужас и растерянность были повсеместными. Вся светская толпа в сопровождении более тысячи обозов эвакуировалась атаманом Платовым из города по дороге на Минск через Новогрудок. Густое облако пыли, сопровождавшее движение множества копыт и повозок, не позволяло определить глубину колонны. Знойное марево усугублялось пожаром — горели подожженные Платовым же провиантские магазины и склады. Грозилась сей же ночью сжечь и мосты через Вилию, на которых в полной давке пытались разойтись экипажи. Вельможи с влажными от пота лицами прижимали надушенные но-

совые платки к носам — тревога, будто вирус, носилась меж каретами: панический страх перед гением Наполеона овладевал всеми. С потерянной тоской вглядывались столичные чиновники на маршировавшую рядом отступающую армию. Колонны шли ровным строевым шагом — в войсках настроение было, напротив, приподнятым. Люди на днях получили двойное жалование. В армию прибыли свежие офицеры, свежие солдаты, свежие лошади. Тысячи людей с мерным топотом и бряцанием штыков двигались по загроможденной повозками дороге: чуть потускневшая от пыли пехота, расфранченная кавалерия в синих, красных, зеленых мундирах; артиллеристы, сопровождавшие подрагивающие на лафетах до медного блеска пушки. Глядя на выющуюся до горизонта тяжелую ленту отступающей армии, Алексей чувствовал в сердце странное помертвление: ему казалось, он уже умер. Умер еще до того, как впервые пошел в атаку. Едет рядом с гусаром с глупым лицом, будто герой средневековых преданий, бледный призрак некогда живого рыцаря.

А гусар рядом, распространяя вокруг себя запах кельнской воды (явно имеющий целью заглушить ароматы вчерашней попойки), так явно любовался красивой формой своих ног под натянутыми чикчирами и был таким пошлым и таким живым, что Алексею захотелось вдруг завести с ним ничего не значащую беседу о пустяках и так очнуться от напавшего на него наваждения. Но он все не знал, как начать разговор. Тогда гусар с выражением пресыщенной скуки сам повернулся к Алексею. Встретившись глазами и поклонившись, молодые люди представились друг другу — сквозь обожаемый француз-

ским императором о-де-колонь на Алексея и верно пахнуло зубровкой.

— Нынче многие отбились от своих частей — бежим, как зайцы. Впускаем наполеонову гидру в Россию-матушку. Так недолго и войскам поддаться унынию. Здесь, на границе следует драться с неприятелем! Как полагаете? — И широко улыбнулся, с легким пренебрежением глядя на красавца барчука в новеньком с иголки мундире.

Тут только заметил Алексей, что голубые глаза гусара верно бешеные: будто за этой ясной голубизной таилась бессмысленная и неостановимая в своей бездумности веселая ярость, которой только дай повод — пойдет рубить, колоть и резать.

И почувствовал, как пустота внутри уступает место физической тошноте — Алексей снова ощущал себя живым, но ощущал прескверно. Отстав под надуманным предлогом от гусара, он тронул лошадь чуть в сторону, и его вырвало на серую от пыли траву на обочине. Фомич подал чистый платок, покачал головой: эх, барин, барин... Обтерев рот, Алексей вернулся на дорогу и ехал остальную часть пути шагом, рядом со своим дядькой, не произнеся более ни слова.

На закате утомленные долгим переходом лошади потребовали отдыха. Один за другим зажглись в поле близ дороги костры биваков. От солдатских привалов потянуло гречневой кашей и щами. В офицерских же кружках слышался смех, хлопки вылетающих пробок от шампанского, ругательства по-французски, переборы гитарных струн, так и не вылившихся в песню. В быстро густеющей южной ночи горела синим пламенем подоженная с ромом сахарная голова для жженки.

Алексей, вежливо отказавшись присоединиться к будущим своим товарищам, отослал Фомича чистить и поить лошадей, поужинал пирогами с телятиной, от которых вместе со сдобным духом будто пахнуло безмятежностью Приволья, запил чаем и, закутавшись в плащ, заснул.

* * *

Слухи стекались в Приволье, как ручейки в озеро: Александр с армией покинул Вильну. Французы вошли в него освободителями. Говорили, что весь город высыпал на улицы: крыши, башни и колокольни были покрыты зеваками, чающими первыми увидеть императора. В окнах домов тех улиц, по которым проезжал корсиканец, были выставлены ковры, знамена, вензеля его. Польские дамы, приветствуя, махали ему платками, а новонареченный президент города, генерал Ляхницкий, самолично отдал с поклоном золотые ключи от городских ворот.

Через Вильну безостановочно проходили войска: кирасиры в блестящих латах на исполинских конях, мамелюки в чалмах, с кривыми и широкими саблицами на боках, смуглые, гортанно смеющиеся испанцы... А за ними — австрийцы, баварцы, саксонцы, пруссаки, вестфальцы и хорваты. И завершением, апофеозом — величественная старая гвардия: медвежьи шапки, грудь, украшенная крестом Почетного легиона, рукава с множеством шевронов... Все это было похоже скорее на парад, чем на войну.

— Почему они не дерутся?! — бросал тем временем возмущенно в Приволье ложку в овсяный суп¹ Николенька. — Почему впускают француза?!

¹ В XIX веке — овсяная каша.

Князь был темен лицом, княгиня заплакана, Авдотья бледна как полотно.

— Французы — молодцы, — сухо бросил Липецкий скорее себе, чем сыну. — Идут в атаку храбро, при рукопашной стоят до последнего, стреляют метко. Сколько мы их положили под Пултуском, Прейсиш-Эйлау, Фридландом — не сосчитать. А все лезут. — И добавил, помолчав: — Бить неприятеля надобно, объединив армии.

Князь справедливо полагал, что отступление вызвано необходимостью воссоединить разрозненные по бескрайним границам империи силы. Войска имелись и на севере, близ только что отхваченной у шведов Финляндии, и на юге — у берегов Турции и Персии.

— Барклай свое дело знает, — успокоительно кивал его сиятельство скорее самому себе, чем испуганным домашним. — И шведа бил, и турка, и француза. — И закончил горько, с нажимом: — И поляков.

О да, поляки.

Одно дело — турки. Война с ними, как хронический насморк, была и будет вечным аккомпанементом российской внешней политики — со времен Ивана Грозного и до Брестского мира. В более философском смысле, конфликтуя с Византией, Россия столетие за столетием все пыталась исторгнуть из себя Восток, прилепившись к Западу. Задача, увы, по сию пору не решенная.

Иное дело — братья-славяне. Пусть никто не рассчитывал, что изрядный кусок Речи Посполитой, ставший частью империи всего семнадцать лет назад, проявит чудеса верности российскому престолу (как тут заодно не вспомнить, чем окончился для России раздел Польши пол-

тора столетия спустя?). Губерния так и оставалась польской, польскими были и губернаторы. Но русские дворяне чувствовали себя в ней вполне вольготно: общались с соседями, устраивали свадьбы между семьями, вместе пировали, танцевали и играли в вист. Да что там западные губернии! Разве Петербург не был центром польской аристократии? Разве не заседала шляхта в русском Сенате? А шляхетские отпрыски разве не зачислялись в кадетские корпуса, а знатнейшие — в привилегированный Пажеский корпус, откуда шла прямая дорога в гвардию?

Видеть столь мгновенное предательство было невыносимо. Поляки явно предпочитали французскую оккупацию русской. Обмен визитами меж дружественными всего неделю назад домами прекратился.

— Зашевелились чертовы ляхи, — рассказывал приехавший на следующий день к Липецким сосед Верейский, уединившись с князем в курительной. — Уже в открытую препятствия чинят при покупке провианта и фуража для отступающих русских полков. Говорят, цены их не устраивают. Скоро-де некто другой, более щедрый, заплатит им вдвое. Вот, полюбуйтеесь-ка! — И он бросил на стол свежий номер «Литовского вестника». — Во всех виленских костелах служат торжественные молебствия по случаю «победоносного движения армии Наполеона». Да-с! Пишут-де, «цепей больше нет! Можно свободно дышать родным воздухом. Сибирь уже не ожидает вас, и москали сами принуждены искать спасения в ея дебрях». Каково, князь, читать сие?

Читать сие было крайне неприятно. Но не это оказалось самым грустным. Как-то мгновенно собрался и отправился в свой полк Алеша — Дуня не успела даже толком с ним по-

прощаться. Отец дал сыну традиционное напутствие перед отъездом: беречь платье снова, а честь смолоду. И даже не позволил заплаканной княгине проводить сына до ворот. Так и стояли потерянно вчетвером на крыльце: хмурый папенька, рыдающие Дуня с Александрой Гавриловной, мелко крестя удаляющуюся конную фигуру, и Николенька с детскими злыми слезами в глазах — отчего уродился он так поздно? Вот и на эту войну не попал! А князь, так и не дождавшись, когда всадник исчезнет за поворотом — тьфу ты, бабы слезы, — втолкнул их в дом и лишь потребовал за ужином подать ерофеича, а выпив рюмочку, вздохнул:

— Что, княгинюшка, спущен корабль на воду; отдан Богу на руки?

Чем вызвал новый поток слез своих домашних.

* * *

В ужасах войны кровавой
Я опасности искал,
Я горел бессмертной славой,
Разрушением дышал;
..Друг твой в поле появится,
Еще саблею блеснет,
Или в лаврах возвратится,
Иль на лаврах мертв падет!..

Денис Давыдов

Tout hussard qui n'est pas mort à trente
ans est un Jean-foutre.

*Antoine Lassalle*¹

¹Всякий гусар, что не погиб до тридцати, ничего не стоит. (*фр.*)

Антуан Лассаль, генерал кавалерии наполеоновской армии

Проснулся он будто от звука детской хлопушки. Трап-та-та-тап! — раздавалось вокруг; заспанный Алексей резко сел, с обидой чувствуя, как уходит в холодный рассветный воздух накопленное за ночь внутри плаща тепло. Красное солнце вставало над полем рядом с дорогой. Он видел, как, прислушиваясь к наступившей тишине, приподымаются на локтях солдаты. Трап-та-та-тап! — раздалось опять, и тут уже вокруг стали вскакивать, мгновенно очнувшись от утренней дремы, ветераны австрийской и турецких кампаний — они узнали этот звук. Алексей заметил, как охваченные медвежьей болезнью побежали справлять нужду к опушке леса солдаты. Ему приходилось слышать от отца об этой унижительной реакции тела на страх перед боем, но в себе он ощутил лишь постыдную тошноту.

— Французы! — услышал он. — В колонну, к атаке стройсь!

Всем было ясно: их настиг авангард наполеоновской армии. В поднимавшемся от Свенты тумане, впрочем, не было видно ни зги.

Пыль, тяжелая от росы, едва вздымалась под копытами. Егерскому полку, к которому временно прикомандировали Алексея, дано было приказание идти на рысях по дороге. Эскадрон объехал пехоту и батарею, также торопившуюся идти скорее, спустился под гору ближе к реке. Лошади взмылились, люди раскраснелись.

— En avant! Vive l'empereur!¹ — вдруг услышал он в тумане впереди и вздрогнул.

С противоположного берега донеслись первые пушечные вы-

¹ Вперед! Да здравствует император! (*фр.*)

стрелы. Ядро, с шипением взрывая землю, прыгнуло по берегу совсем рядом с его лошадью. Еще секунда — и за мгливой взвесью, будто за полупрозрачным платьем тюль-илюзьон сестры Авдотьи, встала темная колонна огромных коней с сидевшими на них мощными всадниками. Сама внезапность их появления и чудовищные размеры ошеломили Алешу. В разрываемой утренними лучами дымке они казались сошедшей с небес древней армией Вальгаллы. «Полно, не предрассветный ли то кошмар?» — подумалось ему. Но нет, всадники были явью — пред ним явились знаменитые кирасиры, тяжелая кавалерия маршала Удино. Последние ключья тумана разлетелись, и глаз смог по достоинству оценить гигантов в блестящих латах с развевающимися на шишаках конскими хвостами. Казалось, легкая российская конница не способна пробиться сквозь грозную стену, и страшно было это величественное в своей медлительности движение. Тем не менее гродненский эскадрон, не тормозя переходящей в галоп рыси своих лошадей, и сотня Донского казачьего полка Родионова врезались во француза.

Машинально осадив лошадь, Алексей увидел впереди в мгновение ока смятую французскими латами русскую кавалерию. Сзади затрещал ружейный огонь — пули визжали вокруг него, проносясь в самой малости от рдеющих щек. Ему чудилось — он видит их полет. Впереди началась страшная кавалерийская резня: сталь заскрежетала о сталь — загуляли сабли, закричали, раздавая и получая удары, всадники, из свежих ран хлынула кровь, но Алеше отчего-то казалось, что двигаются они все медленно, будто во сне. Ужас охватил его. Вокруг плясала смерть. Сотряся

землю рядом, тяжело упал прямо перед ним раненый кирасирский конь — чудовище весом не менее тонны. Алексей содрогнулся вместе с падением этого тела, вдохнул пахнувший кислым порохом и железистым запахом крови воздух, и на него будто нахлынуло безумие, подсмотренное в глазах давешнего гусара. Денис Давыдов изрек бы по этому поводу нечто весьма поэтическое, но с приобретенным за двести лет опытом военных действий мы знаем, что безумцем Алеша не стал: это адреналин разнес по молодому телу бездумную ярость. Отдаваясь гулом в ушах, сердце князя разогналось до 175 ударов в минуту. Сузились, ограничивая доступ кислорода, сосуды. Иными словами, мозг его сиятельства, до отказа забитый философскими штудиями, отключился. Повторимся: князь не стал безумцем. Он превратился в животное.

Дрожа от возбуждения каждым членом своим, будто взявшая след породистая гончая, до боли смыкнув челюсти, он с силой ударил своего жеребца, пустив его в освободившуюся от упавшего коня брешь в рядах кирасиров. Страх ушел — он был наконец свободен. Свободен — и оттого непобедим, князь летел, как на пир, в середину сечи! Ясно и крупно, как в театральный лорнет, он увидел лицо ближайшего французского офицера — раскрытую от подглазья до губы щеку, дергающийся слезящийся глаз. Это изуродованное лицо уже не могло, не имело права жить. В нем не было ничего пугающего, ничего от воина Вальгаллы. И оттого, ни секунды не раздумывая, Алеша бросился на офицера.

Горячий аллюр рыси перешел в галоп, и лошадь Алексея, заразившись от хозяина его неистовством, скаля зубы, ударила грудью со всего размаха жеребца француза, сбив того

с ног. С громким ржанием, потерявшимся в шуме боя, упавший конь придавил хозяина. Тот закричал — у несчастного были раздавлены ноги — и стал совершенно беспомощен. Алексей, в том же упоении бешенства, поднял саблю и ударил ею француза по голове — крест-накрест, еще и еще раз. Лицо офицера уже было залито кровью, изо рта пенились кровавые пузыри, он закрыл глаза, даже не пытаясь защищаться, а Алексей, крича, но не слыша собственного крика, склонился о левое стремя, навис над ним и все рубил по не защищенным латам рукам и шее в синем мундире, пока они не превратились в сплошное месиво. Кровавый пузырь из рта офицера лопнул. Француз был мертв.

В то же мгновение Алексей вдруг почувствовал слабость и тепло у виска и, с удивлением на себя самого вдруг сползши влево, соскользнул с кобылы, с которой еще несколько минут назад был одно целое. Ударилась о подрагивающую землю голова, в глазах потемнело. Он уж не видел ничего, не различал ни воплей, ни звона оружия, не чувствовал дыма и привкуса селитры в воздухе. Он лежал, будто под тяжелым слоем воды, и испытывал похожее на сновидение чувство. Недавнее бешенство отхлынуло, оставив одну странную растерянность. Совсем рядом с его лицом лежал тот самый мертвый кирасир с залитыми кровью закрытыми глазами и распахнутым кровавым ртом. А дальше, над ним, продолжали рубиться какие-то люди, однако все они казались лишенными цвета, серыми, неважными. Он чувствовал, что умирает, и не желал их видеть, отвлекаться на них. Застонав и сам не расслышав своего стога, Алексей повернул голову вверх и попытался успеть додумать что-то очень значительное. Что ж это было? Не долг, не любовь к Отече-

ству, что привели его сюда, — они оказались обманом. Ничего не оставалось на этом поле, кроме озверения человека. И за этим, а вовсе не за любовью здесь и сошлись и русский, и француз. Хуже того: как Алеша ни тщился, он уже не мог вспомнить, что означали вещи еще более важные — Добро, Красота, Истина. Мир войны был не просто далек от них — он отгалкивал от себя живую человеческую душу. «Ежели по Гегелю, — думал Алексей, не обращая внимания на горячую кровь, часто капавшую из пульсирующего виска прямо в ухо, — мышление и бытие тождественны. Но что творится с мышлением, когда его окружает такое бытие?»

Отчаявшись сам дойти до ответа, он, подобно другому литературному герою, пристально вглядывался в бледное, еще не налившееся голубизною небо. Но, в отличие от князя Андрея, успокоение не снизошло на Липецкого: небеса над ним оказались пусты. Пусты, как давно покинутый дом. И поняв это, он просто закрыл глаза.

ГЛАВА 4

Кто сей путник? И отколе,
И далек ли путь ему?
По неволе иль по воле
Мчится он в ночную тьму?

Петр Вяземский

Шли дни, а от Алеши не было вестей: брат пропал, как камень, брошенный в воду. И пусть этот отступательный поход в разгар летнего тепла не мог считаться пока

ни опасным, ни даже тяжелым, Александра Гавриловна и Дуня не спали ночами, воображая себе всякие ужасы, могущие случиться с их нежным книжным мальчиком. Князь, видя это, злился: «Забыл о вас Алексей, дуры, вот и не пишет! А если и печалится, то разве что о том, что надобно ему будет выходить из обжитой квартиры, от хорошенькой панны...»

И верно: кроме отсутствия в доме старшего брата и тягостного чувства нависшей над огромной страной беды, ничего в Приволье не поменялось: все так же деловито жужжали шмели, сыростью дышал барский пруд, созрела в теплицах садовая земляника. И казалось, гидра наполеоновских армий, так и не шевельнув занавес легкого зноя, обойдет Приволье стороной. Что запах жасмина оградит от всех несчастий, да и что нет их вовсе, этих несчастий, пока...

* * *

Первое горе случилось в ту грозовую ночь. Дуня проснулась от внезапного ливня, забившего тяжелыми струями в окно, и конского ржания. Спали все чутко: ночью оживали убаюканные дневным зноем страхи. Растолкав примостившуюся у порога на войлоке¹ Настасью и выгнав ее поглядеть на крыльцо, Авдотья застала в коридоре испуганную мать в чепце и ночной сорочке. Еще пять минут потребовалось, чтобы обнаружить пустую постель младшего брата с сумбурной запиской, где говорилось про честь русского оружия, конечно же. За беглецом тут

¹ Сенные девушки спали на полу у порога в господскую спальню.

же выслали отряд во главе с управляющим. В смертельном беспокойстве дождалась хмурого рассвета; к тому времени княгиня уже выплакала глаза и выпила до дна флакончик гарлемских капель, а князь все не мог избавиться от приступа надсадного кашля и лишь зло топал больной ногой — с тоски и беспокойства ныло полученное от турка штыковое ранение в правую ляжку.

Дуня, обхватив себя руками, стояла в домашнем платье у окна гостиной и смотрела в высокое окно, чтобы первой заметить сквозь пелену зарядившего ливня небольшую игреневую кобылку Николеньки — Дидону. Но вместо этого на подъездной аллее показался неизвестный на крупном вороном жеребце. Темный всадник шагом двигался к дому, и вскоре Дунин глаз заметил детали: укутанная в плащ-пелерину фигура, высокий кивер и жалкий под дождем мокрый султан. Порыв ветра приоткрыл грудь незнакомца — красные шнуры на темно-синем, золоченые пуговицы. Не пытаясь смахнуть со щек и усов попавшие на них дождевые капли, всадник спешился у высокого крыльца и поднял глаза прямо на окно гостиной, у которого, будто загипнотизированная мистиком Калиостро, стояла Авдотья. Отпрянув за жаккардовую гардину, она успела отметить, что всадник прибыл не один — там, где серое полотно дождя почти скрывало львов на старых въездных воротах, теснились тени. И их было много, очень много.

* * *

Та ужасная ночь — на 17 июня — дорого далась и наполеоновским войскам на марше: от неожиданного в летнюю пору яростного дождя с градом и снегом пали ты-

сячи лошадей. В кавалерийском лагере земля покрылась трупами не перенесших холода животных. Эта буря была знаком, морозным дыханием судьбы. Но знак, как водится, разгадали слишком поздно.

Николеньку вернули в тот же день. Мальчишка взмылил свою кобылу скачкой через поля, а переправляясь через реку, пустил вброд там, где брода не было. Дидона завязла в суглинке. Сумку, куда брат сложил пару белья и хлеб с куском лимбургского сыра, унесло течением. И его бы, дурака, унесло, если б вовремя не подоспели. Домой он вернулся за спиной управляющего Андрея — мокрый, дрожащий крупной дрожью, так и не заметивший, что Приволье теперь оккупировано врагами.

Батюшка вышел беседовать с офицером и вернулся с безрадостным известием: к ним на постой явился конный артиллерийский дивизион француза: всего около двухсот пятидесяти человек и пятьсот животных. Да две батареи по двенадцать орудий. К если не хорошим, то утешительным известиям можно было отнести обещание офицера: мародерствовать его молодцы не собирались. Фуража для лошадей — по три гарнца овса и по двадцати фунтов сена — ежедневного рациона, отпущенного еще в Данциге, им пока доставало с лихвой. Хмыкнув, батюшка заметил, что конная артиллерия, очевидно, пользовалась особенным расположением императора: люди и лошади были полны сил и здоровы. Майор и полковой хирург собирались расположиться в левом, гостевом крыле имения и по возможности не беспокоить хозяев.

— Наполеон ждет покуда в Вильне письма от государя Александра Павловича и еще надеется на мир, — заявил

князь на следующий день за ужином. — А его Великая Армия замерла вместе с ним, прислушиваясь к шуму российских дубрав. Это затишье перед грозой, — витийствовал батюшка, отрезая себе изрядный кусок холодной буженины под луком.

Княгиня вопреки обыкновению своему, не подала к вечерней трапезе ничего горячего; Александре Гавриловне было не до обсуждения меню и даже не до войны с Буонапарте: у Николеньки вторые сутки держался сильный жар. Он бредил. Матушка с Дуней весь день провели у его постели, вечером их сменяли Настасья с Николенькиным дядькой. Последнего матушка винила, что старый пес не знал о побеге питомца, и приказала высечь на конюшне, где за экзекуцией бесстрастно наблюдали французские солдаты. В тот же вечер послали за дохтуром Левандовским и на другой берег реки — к известной на весь уезд травнице. Новости пришли неутешительные. К отчаянию маменьки и отвращению князя, выяснилось, что Левандовский записался в полковые врачи в польский корпус Понятовского, а травница сама лежала в жару и никого к себе не пускала. Врача еще можно найти было в Вильне, но вряд ли стоило рассчитывать на его приезд. На дорогах нынче с равной легкостью расставались и с кошельком, и с головой — наступающая армия не всегда отличалась любезностью «нашего француза», как меж собой называли Липецкие остановившегося у них командира. Так, дворянка приносила неутешительные вести из соседних деревень: разношерстная наполеоновская солдатня грузила полковые повозки вместо провианта награбленным имуществом, потехи ради выламывала двери и окна,

крушила мебель, забирала скот и травила посевы, скармливая незрелые хлеба лошадям. Однако вокруг Приволья «их» майор выставил часовых, и в деревне Липецких, где расположился дивизион артиллеристов, все пока было тихо и пристойно, без происшествий.

Авдотья же если и выходила из дома, то только со стороны сада — там возможность пересечься с вражескими артиллеристами была минимальна. Забравшись в беседку, тщила она читать романы, но романы были по преимуществу написаны французами и на языке неприятеля: о ту пору российский читатель знал Шекспира и Байрона, Гете и Ариосто исключительно во французских переложениях. И потому, проникнутая духом патриотизма, моя княжна с сердцов¹ отбросив книжку, вставала над обрывом, уставившись на ленивые воды речки, являя собой прелестную картину в развевающемся на летнем ветерке легком платье. И так проводила часы, жалея лишь об одном: что не успели они сняться с места и вернуться домой, в Москву, прочь от земель лицемерных поляков. И еще вспоминала о своей беседе с Алешей тогда, в лесу. Как не хотел брат идти на войну, боялся вражеского ядра, а вот теперь у нее самой под боком французские пушки. Покамест, по счастью, в чехлах.

Ночью Николеньке стало хуже — он кричал в бреду: «Пропустите меня, я адъютант главнокомандующего!» И все метался, а потом вдруг замер на мокрых простынях и почти перестал дышать, лишь подрагивали сизые, как у покойника, веки. Тут уж кричать стала княгиня, и князь увел ее в спальню, а Дуня приказала девушкам

¹Здесь: в сердцах.

сменить простыни на сухие, а закрыв за ними дверь, осталась у постели брата молиться. «Владыко Вседержитель, — горло ее сжималось рыданием, слезы отчаяния застилали глаза, — брата нашего Николая немоществующа посети милостию Твоею, простри мышцу Твою, исполнену исцеления и врачбы, и исцели...» Но, изредка поглаживая ледяные пальцы брата, Авдотья отчего-то знала, что молитва не помогает и что ее еще вчера веселый, похожий на резвящегося щенка братец ускользает все дальше и дальше... Туда, где он — адъютант командующего всех небесных ратей, скачет на белом коне чрез небесные кущи.

Под утро, чувствуя, что задыхается в душной, пахнувшей уксусом и шалфеем комнате, Дуня решила выйти на крыльцо проветриться. И тут Николенька застонал тихо и жалостливо, а когда Дуня подбежала и склонилась над усыпанным бисерным потом родным лицом, сказал вдруг четко, будто и вовсе не в бреду:

— Она мертва, вы что, не видите?! Снимите же ее с плота!

— Кто мертв, Николенька? Кто на плоту? — зашептала Авдотья, но брат не очнулся: глаза были все так же плотно сомкнуты и бледные губы больше ничего и не произнесли.

И, приняв последнюю фразу за продолжение болезненного бреда, Авдотья выпрямилась, запахла капот и, беззвучно прикрыв за собою дверь, вышла.

* * *

Над парком вставала заря, пахло дымом от деревенских печей и сыростью с речки. Утренний каскад птичьего пения, торжество рождающегося дня обруши-

лись на Дуню подобно обвалу — за ее спиной умирал младший брат, старший был на войне и, возможно, уже погиб. «Я одна», — подумала Дуня и почувствовала, как невозможно стало вдохнуть полный прохладной влаги утренний воздух. Одна. Она запрокинула лицо к светлеющему небу, на котором горела страшная комета, но слезы все равно текли, скапливались в углах по-детски дрожащих губ.

— Мне бы хотелось помочь вам, мадемуазель, — услышала Дуня и вздрогнула.

Перед ней стоял давешний офицер. Папá говорил его чин: майор? Капитан? Она уже ничего не держала в памяти, кроме заострившегося Николенькиного лица.

И чтобы не разрыдаться, зло, как дворянка, ощерилась:

— Вы уже помогли мне, месье. Благодаря войне, начатой вашим императором, мы не можем найти врача. Мой брат... — Голос ее задрожал, и Дуня даже притопнула ногой, раздражаясь на свою слабость в ненавистном присутствии. И от злости смогла произнести страшные слова: — Он умирает, месье. И ни вы, ни я... никто уже не может ему помочь.

— Мы — нет. Зато ему может помочь Пустилье, — сказал сей майор или капитан, склонив набок курчавую голову. В продолговатых, агатовой черноты глазах француза плескался жидкий блеск — как у готового тотчас же пуститься резвым галопом породистого аргамака¹. Он был невысок — едва ли на полголовы выше самой Авдотьи.

¹Южная порода лошадей.

Узкое смуглое лицо будто только и служило обрамлением главному — выдающемуся носу.

«Каков урод!» — успела подумать Дуня, прежде чем поняла, что ей пытается объяснить артиллерист на своем куртуазном французском.

— Полковой лекарь? — переспросила она.

— Военный хирург. И очень знающий врач, — чуть поклонился француз. — Если угодно, я сейчас же попрошу его осмотреть вашего брата.

— Боже мой! Да, конечно! — Она птицей встрепенулась и вбежала с крыльца в дом: — Маман! Маман!

И только влетев в маменькину спальню и выпалив новость неприбраной княгине, вдруг покраснела, потому как поняла, что не только не поблагодарила уродливого артиллериста, но даже не узнала его имени.

ЗА ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДО ОПИСЫВАЕМЫХ СОБЫТИЙ

*Его Высокопревосходительству, действительному
тайному советнику графу Лубяновскому коллежского
советника Кокорина донесение.*

От мая 28-го 1792 года.

На N-ской заставе мне довелось лично допрашивать две беглых семьи, включая малолетних детей, всего 28 душ. Сии несчастные бежали из имения Л., что в N-ском уезде, по причине, как они говорят, лютости хозяина своего. Два месяца, терпя

крайнюю нужду, пробирались оне лесами к границам Империи, покуда не были пойманы и допрошены лично мною и коллежским секретарем Телегиным.

По словам сих беглых, деревенский староста не раз обращался в город за помощью к уездному стряпчему, принося жалобы на жестокость помещика своего. Однако хода делу не давали, а, напротив, старосту отправили обратно к господину, где оный староста был порот, а впоследствии затравлен псами до смерти.

С той поры жалобы прекратились, но не прекратились жестокости, и не токмо самого помещика, но и супруги его, отличавшейся особой свирепостью к санным девушкам. Неожиданным же в сих свидетельствах оказалось следующее обстоятельство: барыня у беглых была иногда «черненькая», а в другой раз «беленькая». И так выяснилось, что у N. имелись две жены. Последние «на шестую седмицу друг дружку и поубивали через крысиную отраву». По словам беглого лакея, сам барин на ужине присутствовал и был сим обстоятельством весьма доволен. За всем тем вдовство ввело его в еще пущую лютость. Вызванный на пограничную заставу с целью медицинского осмотра лекарь нашел у беглых следы зубов на плечах, множество знаков от розог, струпья на ягодицах и следы прошиба на голове.

Таким образом, показания беглых о жестокостях сомнений не вызывают. Однако должно получить подтверждение двоеженству N. и единовременной кончине обеих женщин. Был сделан запрос к уездному предводителю дворянства, князю K., и в военную коллегию на послужной список вышеобозначенного помещика...

ГЛАВА 5

Война — это не отношения между людьми, но между государствами, и люди становятся врагами случайно, не как человеческие существа и даже не как граждане, а как солдаты; не как жители своей страны, а как ее защитники...

*Жан-Жак Руссо, 1762 г.
Об общественном договоре*

В описываемые нами годы базовой дисциплиной в Московском медицинском университете являлась, как ни странно, философия. Врачебная же наука тогда еле держалась на собственных слабых ножках. Едва избавившись от диктата религии, она нуждалась в новой подпорке: и потому соединение с философией кажется нам уже недурным шагом вперед. Вдобавок, учитывая имевшиеся малые возможности (первые лекарственные препараты из чистых химических веществ появились в арсенале медиков лет через тридцать), врачам часто оставалось разве что философствовать. Надеялись на здоровую природу: то, что мы ныне называем иммунитетом.

Николеньке повезло — он попал к знающему доктору. Абсолютно седой, круглый, как Колобок, Пустилье был врачом нового образца, выкормышем революции. Исследуя гильотинированные трупы (отличный, пусть и мрачноватый материал для любознательного ученого!), он отказался верить в догмат о животворящем духе, что приводит в действие мертвую массу тела. Не желал он, по примеру своих старших коллег, и выводить из больного хворь

с помощью бесконечных кровопусканий и рвотных. Вместо этого француз тщательно пальпировал своего юного пациента, а после прикладывал к неровно вздымающейся груди мальчика свернутый трубочкой лист бумаги (первый стетоскоп изобретут только через четыре года, а пока управлялись подручными средствами). Расслышав все необходимое, выдавал хинин и собственноручно изготовленные жаропонижающие и отхаркивающие микстуры.

Микстуры ль тому виной, или здоровый юный организм, но вскоре Николенька пошел на поправку. Теперь Пустилье, навещая больного, проводил большую часть времени за обсуждением с ее сиятельством детского меню, полностью одобряя в сем вопросе выбор княгини: поменьше мяса — бульон предпочтительнее для обессиленного после болезни детского желудка. Никаких «возбуждающих напитков» — чая и кофе. Утром габерсуп¹. Весь день — обильное питье (отвар лопуха и молочная сыворотка). Умеренность в обед: одно мясное или рыбное блюдо и десерт. Молоко с хлебом или каша — на ужин. Ягоды — на полдник. В соответствии с принципами Руссо — ни сахару, ни духов². Александра Гавриловна суетливо кивала, и записывала за доктором слово в слово — золотым карандашиком в хозяйственный блокнот, который неизменно носила на поясе. Николенька возмущенно морщился, но до поры до времени в споры с маменькой не вступал.

Тактичный доктор ходил к больному не в военном мундире, а в синем суконном сюртуке, и вид имел сугубо

¹ Овсяный суп с сухофруктами.

² Здесь: пряностей.

светский, что шло весьма на пользу выздоравливающему. Однако ж стоило последнему оправиться, как он стал дичиться французского лекаря, держа себя с ним надменно и холодно, покуда Авдотья однажды не сделала тому выговор: мол, изволь-ка держать себя любезнее — доктор тебе как-никак жизнь спас! Николенька, заалев аки маков цвет, в ответ на замечание отвернулся к стене, процедив нечто неразличимое по-русски. А Пустилье, сделав вид, что не приметил обернувшейся к нему филейной части пациента, с веселой улыбкой похлопал княжну по руке:

— Полноте, мадемуазель. Я не в обиде, был бы здоров. Нынче молодым людям всей Европы хочется в бой: бить неприятеля. А военные медики всех армий знают, что руки и ноги у любой нации отрывает одинаково, да и контузит французов и русских одним манером, вуаля.

И, насвистывая старинный мотивчик «Как я вышел в мой садок собрать розмарину», Пустилье, поклонившись барышне и выздоравливающему, вышел из комнаты.

— Война войной, — заявил за ужином папенька, — но промеж европейскими дворянами элементарной любезности никто не отменял.

И в благодарность послал через камердинера свежей дичи к «оккупантскому» столу. В ответ французы презентовали Липецким пару почтенных бутылок кларета, весьма подходящих для «разгона крови» после барчуковой болезни. На отличный кларет княгиня ответила несколькими банками собственноручно сваренного варенья из первой садовой земляники, а апофеозом обмена любезностями послужило приглашение французов на ужин.

— Я просто не могла повести себя иначе, — оправдывалась перед возмущенной дочерью Александра Гавриловна. — Мы, в конце концов, не дикари. — И добавила последний, неопровержимый аргумент: — А ну как наш Алеша окажется в руках француза? Разве не хотела б ты, чтобы к нему отнеслись с христианским состраданием?

Николенька вскочил со стула:

— А я не просил их меня спасти! — и выбежал из комнаты.

Маменька перевела глаза на Авдотью: та, помолчав, пожалала плечами. Она хоть и не просила о помощи, приняла ее. И неужто жизнь младшего брата не стоила ужина с неприятелем?

Вместе с Настасьей выбрали платье — полупрозрачный тюль-иллюзион на атласном чехле цвета слоновой кости. И пока Настасья, высунув от усердия язык, вязала ей волосы в тугой узел, Дуня пригорюнилась. Платье было любимым, и она надеялась танцевать в нем с гвардейцами Преображенского полка — защитниками Отечества. А станет делить трапезу с вражеским артиллеристом. Но, сдержав тяжкий вздох, решила: так что ж? Разве древние греки не изобрели для подобных насмешек судьбы слово «парадокс»?

Ужин, впрочем, прошел на удивление удачно: обливная рыба с желеем так покорила гостей, что те пообещали завтра же выслать солдат — наловить свежих окуней в речке для княжеского и французского столов. Бараний бок с гречневой кашей тоже поймал свою минуту славы. И доктор, и офицер повели себя весьма деликатно, не произнеся ни единого слова о войне или Бонапарте. Офицер даже представился как штатский — де Бриак. Де